



ДУЖС

Карты на стол

ФРДЙ



МОСКВА
Издательство АСТ

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ф82

Книга публикуется в авторской редакции

Фрай, Макс

Ф82 Карты на стол / Макс Фрай. — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 480 с. — (Миры Макса Фрая).

ISBN 978-5-17-095267-0

Макс Фрай известен не только как создатель самого продолжительного и популярного сериала в истории отечественной fantasy, но и как автор множества сборников рассказов, балансирующих на грани магического и метареализма. «Карты на стол» — своего рода подведение итогов многолетней работы автора в этом направлении. В сборник вошли рассказы разных лет; составитель предполагает, что их сумма откроет читателю дополнительные значения каждого из слагаемых и позволит составить вполне ясное представление об авторской картине мира.

В русском языке «карты на стол» — устойчивое словосочетание, означающее требование раскрыть свои тайные намерения. А в устах картежников эта фраза звучит, когда больше нет смысла скрывать от соперников свои козыри.

И правда, что тут скрывать.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-095267-0

© Макс Фрай, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2016

КАРТЫ НА СТОЛ

Из сборника «Сказки старого Вильнюса»

Стефан всегда узнает первым. И сразу звонит мне. И говорит: «Надо бы нам с тобой выпить пива». А когда дозвониться до меня невозможно, Стефан берется за бубен. И ритм его ударов передает ровно то же самое.

Стефан знает, что пиво я не люблю. И что я приду так быстро, как смогу, он тоже знает.

Стефан всегда приходит раньше назначенного времени. Когда я появляюсь на улице Этмону, он уже сидит в баре на углу, и кружка его наполовину пуста.

Я усаживаюсь напротив и спрашиваю:

— Опять?

Стефан делает такое неуловимое движение бровями, как будто они — плечи, которыми он пожал. Дескать, сам знаешь, что толку болтать.

Знаю, конечно. Но всегда есть надежда, что на этот раз Стефан просто захотел выпить со мной пива. Как нормальный живой человек с нормальным живым человеком, елки, почему нет. Потому что давно не виделись, настроение ни к черту, куча новостей и, например, зима на носу. Всего через каких-то жалких четыре месяца.

Но достаточно посмотреть на его лицо, чтобы расстаться с иллюзиями. Причем не только с текущими, а вообще со всеми. Раз и навсегда.

Вот и сейчас.

...— Как-то часто в последнее время, — говорю я. И достаю кiset с табаком.

Когда я человек, я курю. Особенно когда я человек, который нервничает, да так сильно, что желает немедленно развеяться по ветру. То есть перейти в свое естественное состояние. Почти непреодолимый соблазн. А табак помогает сохранять нужную форму. Собственно, именно для удобства таких, как мы, он и растет на этой планете. Когда курят нормальные люди, которым от своей человеческой формы при всем желании никуда не деться, это выглядит ужасно смешно, нелепо и даже мило. Как если бы рыба устроилась у себя на дне ванну и регулярно ее принимала.

— Часто, — соглашается Стефан. — За этот год уже второй раз. Раньше было полегче. Пиво будешь?

Мое человеческое тело отрицательно мотает головой. Оно, как уже было сказано, пиво не любит. Однако мой мятежный дух говорит:

— Ладно, давай.

Он к этому моменту уже настолько мятежный, что искренне считает: чем хуже, тем лучше. И до известной степени прав.

— Мне очень жаль, — говорит Стефан.

Правду говорит. Еще бы ему не жаль. Стефану было бы гораздо легче, если бы он мог справиться сам. Но он не может. И вообще никто.

Я на самом деле тоже не могу. Но кроме меня — некому.

— Да ладно тебе, — говорю я, отхлебывая пиво.

Оно довольно противное, как и положено пиву. Ничего, потерплю.

— Нечестно получается, — говорит Стефан. — Как жить, так все вместе, а как умирать — так всегда ты один.

Поскольку искусство хитроумного движения бровями мне недоступно, приходится просто с досадой поднимать одну из них. И кривить рот. И разводить руками. Дескать, с радостью уступил бы эту обязанность кому угодно другому, но ничего не поделаешь, такой уж дурацкий расклад, ладно, как-нибудь справлюсь.

Очень много бессмысленной суеты. Но не могу же я оставить его без ответа.

Какое-то время мы со Стефаном молчим. Просто пьем пиво и курим. Потому что все уже было сказано столько раз, что добавить нам нечего. Только и можем — немного продлить счастливый момент, пока мы живы и вместе, сидим за одним столом.

Потом Стефан поднимается и уходит. А я остаюсь в баре на Этмону с почти полной кружкой пива и ярким белым солнечным ужасом, обступающим меня со всех сторон. Не потому что я так уж напуган — хотя, конечно, напуган. Однако в данном случае белый солнечный ужас — не чувство, охватившее меня, а объективно существующий внешний фактор, что-то вроде дневного света или, наоборот, темноты.

Для меня объективно существующий. И еще для Стефана. А больше, пожалуй, ни для кого. Пока.

Нёхиси об этом рассказывать нельзя ни в коем случае. Даже не потому, что от таких новостей у него испортится настроение — то есть не как обычно, до трещин в свежеекрашенных стенах и градин величиной с дикую желтую сливу, а по-настоящему, всерьез, надолго испортится, и это само по себе может стать катастрофой, последствия которой потом за год не расхлебашь, даже если расхлебывать, то есть, исправлять будет он сам.

Но гораздо хуже другое. Нёхиси все-таки слишком могущественный. Что само по себе, с учетом его характера, склонностей и намерений просто отлично. Но именно поэтому все, на что обращает внимание Нёхиси, сразу же обретает дополнительную силу, значение и смысл. Когда-то я испытал это на собственной шкуре, знаю, о чем говорю.

А ведь был человек как человек. Ну или почти.

В общем, о сияющем солнечном ужасе, который сейчас подступает ко мне со всех сторон, Нёхиси ничего знать не должен. Пока с его точки зрения вообще никакого ужаса нет,

ни «белого», ни «солнечного», ни «ночного», ни «серо-буромалинового», справиться с этой напастью гораздо легче.

Хотя все равно невозможно.

Поэтому я забываю о Нёхиси. Совсем, как будто его никогда не было. А если ослабну духом настолько, что не смогу не вспомнить — ладно, что делать, вспомню. Как, например, вспоминают однажды в детстве приснившийся сон.

Очень не люблю его забывать. Но ничего не поделаешь, надо. Пока я не помню, что Нёхиси есть на свете, он не сможет узнать, что я в беде, и прийти на помощь; это всегда так работает с духами, божествами и просто друзьями, не только с ним. Это чертовски печально, но сейчас — именно то, что надо. С белым солнечным ужасом следует оставаться наедине и справляться своими силами.

На самом деле, никакой это, конечно, не «ужас». И «белым», «солнечным» он стал для меня только по причине нынешней ясной погоды. Сегодня, вот прямо сейчас я называю это явление так. А раньше называл как-то иначе. А потом придумаю что-нибудь еще. Главное — никогда не повторяться, даже в мыслях. Не то чтобы имя действительно настолько важная штука, что непременно придает поименованному объекту какую-то дополнительную силу. Но все равно лучше не рисковать.

Стефан оставил на столе деньги за пиво. Прибавляю к ним какую-то мелочь на чай и поднимаюсь из-за стола. Пока я помню, кто я такой и чем собираюсь заняться, надо успеть забраться на крышу.

Это не так просто, как кажется, наши горожане любят запира́ть двери, ворота, калитки и чердаки, но мне повезло, в соседнем доме живет моя старинная подружка Эгле. Вернее, работает, у нее там маленький косметический кабинет в мансарде на самом верху; впрочем, неважно. Важно, что она сделала для меня копию ключа от подъезда. Я объяснил, что иногда мне бывает совершенно необходимо посидеть на кры-

ше где-нибудь в самом сердце Старого Города, а не у себя на берегу реки, где с крыши не видно ничего, кроме обступающих дом деревьев и пестрых соседских простыней, трепещущих на ветру. Нужно, и точка. Для вдохновения, например.

Вдохновение, с точки зрения Эгле, достаточно серьезная причина, чтобы пустить человека на крышу. Она думает, я художник. Впрочем, я и правда когда-то им был. Или просто сочинил, будто был, но поскольку сам в это верю, все честно.

В общем, теперь у меня есть ключ от подъезда. И отвертка в кармане, чтобы справиться с крышкой потолочного люка, ведущего на чердак. И воля, чтобы, дрогнув в самый последний момент, уже на пороге, не сбежать на край света, а спокойно войти и подняться наверх, одолев пятьдесят семь ступенек — все, сколько есть.

Я сижу на крыше трехэтажного дома на улице Этмону и забываю себя.

На самом деле, после того, как я забыл Нёхиси, забыть еще и себя проще простого. Без него меня так сокрушительно мало, что не о чем говорить.

Трудно другое — продолжать жить после того, как забуду.

Собственно, именно в этом и состоит так называемый «белый солнечный ужас». Жизнь без памяти о себе. Вернее, о смысле — своем. И о смысле всего остального. И о том, что оно — мое все остальное — хоть где-нибудь есть.

Невозможно объяснить, что это такое. Но я все равно попробую. За невозможным — это ко мне.

Штука в том, что наш город — наваждение. Очень достоверное наваждение, всех вокруг, включая себя самого, убедившее, или почти, будто оно, как все прочие города, создано человеческими руками из обычных строительных материалов — кирпича, камня, стекла, досок, черепицы, бетона и из чего там еще положено строить.

Вот из всего этого.

Но такое лукавство, конечно, совершенно не мешает городу оставаться живым, текучим и переменчивым, как и положено всякому нормальному наваждению. Напротив, помогает. Достоверность — наиважнейшая часть затеянной им игры.

Мост между существующим и невозможным, восторжествовавший над тем и другим, соединив их в нерасторжимое целое — вот что такое наш город. Именно поэтому здесь так легко дышится. Поэтому здесь сходятся границы разных реальностей, времен, судеб и возможностей. Поэтому здесь обычная человеческая речь, птичий щебет и завывания ветра порой превращаются в магические заклинания, реки могут течь во все стороны сразу, оживают вымышленные существа, овеществляются сновидения, свершаются невысказанные дела, а духи, ангелы, чудовища и другие заплутавшие странники приходят сюда, когда хотят поиграть в простую веселую жизнь — выпить кофе, поболтать друг с другом, погулять по улицам, обжечься обычным огнем, замерзнуть на зимнем ветру, проголодаться, хохотать так, что ноги не держат, влюбиться, надраться до чертиков и горланить песни ночью напролет, если приспичит, почему бы и нет.

Этот город любит казаться — сам себе и всем остальным — воплощенной мечтой, сбывшимся кошмаром, осуществленной надеждой или просто новой возможностью — чего угодно, кому какая нужна. Он гнется и мнется в руках, как скульптурный пластилин, легко принимает форму нашего сердца, меняется стремительно, как настроение, всегда вдохновенно летит неведомо куда, опережая собственный ветер. В этом его великая сила, но иногда она оборачивается слабостью. Потому что город прислушивается не только к избранным зачарованным странникам, хрупким слонам, на которых держится подлинный мир, а ко всем подряд, включая своих горожан и досужих туристов, которые ежедневно выходят на наши улицы в твердой уверенности, что дома вокруг — это просто дома, камни — всего лишь камни, реки — водотоки значительных размеров с естественным течением по руслу от истока до устья, деревья — обычные многолетние растения с твердым прямоствольным главным стеблем-стволом, ветер — воздушный поток,

бессмысленный и бездумный, и хватит, и все, мы разумные взрослые люди, мы знаем: ничего, кроме реального мира, данного нам в фактах и ощущениях, в обстоятельствах непреодолимой силы, видимого глазу, слышимого уху, обоняемого и осязаемого, худо-бедно изученного и описанного в учебниках, конечно же, нет.

И нас, получается, нет. И условно чудесных, хоть сколько-нибудь выходящих за рамки обыденности событий. И иных, даже самых ближних приграничных миров. И неизреченного высшего смысла. А значит вообще ничего.

Люди не то чтобы виноваты в таком положении дел. Это, скорей, их беда: слишком мало видят и слышат, почти ничего не чувствуют, слишком много думают о себе, слишком сильно тревожатся о своей безопасности, для них и правда невыносимо даже на миг допустить, что в мире есть явления и процессы, недоступные их восприятию. Все равно что добровольно признать существование вечного остро заточенного ножа всего в миллиметре от твоей сонной артерии — слишком похоже на правду, поэтому невыносимо, уберите, заткнитесь, исчезните, не возвращайтесь, я подумаю об этом потом, например, за секунду до смерти, когда терять будет нечего, а пока проваливайтесь со своим немислимым неизреченным, не поддающимся объяснениям, ко всем чертям, в никуда.

Подобный подход — обычное дело, но именно здесь, у нас, он может привести к подлинной катастрофе. Потому что время от времени наш город, привыкший внимательно прислушиваться ко всем своим обитателям и гостям, начинает им верить, тут же сходит с ума от горя, совсем слетает с катушек, впадает в тоску, становится самоубийцей: нет так нет, договорились, прощайте, живите как знаете, я больше так не могу.

И в отчаянии отменяет всех нас, а вместе с нами — себя. Остается лишь видимость города, его лишенное жизни тело — недолговечное, тяжкое, яркое, шумное, когда его называют «реальностью», мне обычно делается смешно, но только потому, что чувство комического — самая надежная защита от невыносимого ужаса небытия, ничего лучше пока не придумали, так говорят.

...Хорошо, что Стефан всякий раз заранее чувствует беду и набирает мой номер, или берется за бубен из кожи нарисованной рыбы, звук которого я слышу даже если сплю или счастлив. Где бы мы все уже были без этих нарисованных рыб.

Стефан считает, что никто, кроме меня, не справится с этой работой. И он совершенно прав. Потому что я рожден человеком и всегда им останусь, во что бы ни превращался. Потому что однажды я стал неведомо чем, но сразу же вспомнил, что был им на самом деле всегда.

Потому что я — тоже мост между существующим и невозможным. Между неумолимой реальностью и исчезающим смыслом. Между собой и собой. Я, по сути, примерно такой же, как город. И в его отсутствие, после его скоротечной смерти могу сыграть за него.

И одновременно — могу, не могу, а все равно придется — играть за его невольных, невинных, ни о чем не подозревающих, неумелых, но удачливых горе-убийц. Я — плоть от их плоти, такой же твердолобый невежда, такой же слепец, такой же несчастный дурак, просто не «есть», а «был». Но изменение глагольного времени не является смягчающим обстоятельством и не снимает ответственности. Таковы правила этой вечной игры.

И вот я сижу на крыше трехэтажного дома на улице Этмону. Как я сюда попал, отдельный интересный вопрос; впрочем, смутно припоминаю: подружка дала ключи, когда-то очень давно, практически в прошлой жизни, где теперь те подружки. Удивительно, кстати, что замок с тех пор не сменили, хоть в чем-то мне, значит, везет.

Сижу и думаю: «Хватит себя обманывать». Думаю: «Сколько можно жить в вымышленном мире, дружить со своими фантазиями, закрывать глаза на подлинное положение дел, прозябать в старом дедовском доме под прохудившейся крышей, среди облупленных стен и пыльных надтреснутых стекол, затянутых паутиной давно передохших от скуки и голода пауков». Думаю: «Теперь я готов смотреть правде в глаза». Думаю: «Боже, как жаль».

Впрочем, ничего такого я, конечно, не думаю. То есть, думаю, но не я.

Небытие всегда говорит со мной моим собственным голосом. Оно со всеми так говорит. И вот прямо сейчас шепчет мне, столь убедительно притворяясь моими мыслями, что я ему верю.

«Это был просто кризис, — вкрадчиво шепчет оно. — С каждым может случиться. После того, как тебя выперли из той рекламной конторы и не взяли в десяток других, а любительская мазня, которую ты считал по-настоящему вдохновенной, от этого лучше не стала, ты всерьез обиделся на весь белый свет, заперся в одиночестве и принялся фантазировать, как славно могло бы сложиться, если бы тот странный соседский подросток, с которым ты подружился летом после четвертого, что ли, класса, оказался не просто бездомным сиротой-шизофреником, ютившемся в старом заброшенном особняке, а настоящим духом здешних холмов, веселым городским божеством, тогда вместо всей этой смурной взрослой жизни, требующей постоянных усилий, можно было бы сразу взлететь на вершину мира, где все легко, как в сказке, которых ты, будем честны, читал несолько больше, чем следует, но ничего, теперь...»

Я говорю вслух:

— Заткнись. Пошло вон.

И уж это, будьте уверены, говорю я сам. Хоть и не знаю толком сейчас, кто именно говорит моим голосом. Кто так сердит, что руки его начинают светиться от гнева, а голова пылает словно большой костер, первыми сгорают волосы, за ними глаза, только что смотрешшие на крыши и храмы Старого Города, теперь они ничего не видят, кроме ослепительной солнечной тьмы, но игра стоит свеч, потому что потом приходит черед так называемых «трезвых разумных мыслей», они сгорают бесследно, южный ветер, старый преданный друг, уносит их пепел, а я остаюсь. Я всегда остаюсь, я очень упрямый. Ненавижу, когда мне перечат. Ненавижу, когда говорят, будто я выдумал все, что люблю. Ненавижу, когда тычут в рожу здоровым смыслом, как гряз-

ной тряпкой, в надежде, что затхлая вонь произведет на меня столь неизгладимое впечатление, что я сразу же, не сходя с места, признаю свое поражение и откажусь от борьбы.

И как же кстати порой оказывается такой скверный тяжелый характер — вот, например, сейчас.

Небытие питается жизнью, оно всегда голодно, эту ненасытную утробу ничем не заполнить; впрочем, у меня и нет цели успокоить его, накормив. Мне надо, чтобы оно убралось отсюда. Вон. Навсегда.

Ярость моя так велика, что оно и правда уходит. Не то чтобы навсегда, даже не особенно далеко, просто делает шаг в сторону и оставляет меня наедине с собой.

И это самый разумный тактический ход в сложившихся обстоятельствах. Потому что себя — того, кто, обливаясь потом, сидит на раскаленной крыше, в невыносимо ярком и честном слепополуденном солнечном свете — я гнать, конечно, не стану. Я — это все-таки я.

Я — это все-таки я, даже когда ни черта о себе не помню, не знаю, не чувствую привычной веселой силы, не имею опоры, ни внутренней, ни хотя бы внешней, потому что не понимаю, на что опереться, реальность, частью которой я только что был, рассыпается, катится в стороны, как бисер, нанизанный на нитку, порвавшуюся сразу в нескольких местах. Теперь представим, что эта чертова нитка была подвешена в полной пустоте, и получаем более-менее точную картину происходящего.

А посреди этой картины, ровнехонько в центре, оскорбляя все мыслимые законы композиции, помещаюсь я сам. Такой усталый и опустошенный недавним приступом гнева, безадресным и скорее всего бесполезным, что мне уже почти не больно, все-таки горе — слишком тяжелый труд, он мне не по плечу.

Единственное, на что я сейчас способен — уныло прикидывать, сколько шагов отделяет меня от края крыши, прыжок с которой мог бы поставить точку в нелепой внутренней драме великовозрастного мечтателя, завравшегося уже до полной утраты не только памяти, но и желания ее

вернуть. И приходится к выводу, что вставать, делать эти шаги, прыгать, падать на землю и умирать мне попросту лень. Может быть, позже. А пока посижу, покурю.

Чем мне еще заниматься вот прямо сейчас, когда не только ум, но и сердце, и веселый огненный зверь, спящий под ним, как под камнем, и алчная пропасть, служащая ему подстилкой, и живая ясная тьма, вход в которую скрывается где-то между бровями, — все мое смертное вечное существо твердо знает, что Нёхиси — это сон, в самом лучшем случае, морок, одолевший меня и долго не отпускавший, спасибо ему за это, прекрасная вышла жизнь. А дружище Стефан, призвавший меня сегодня на самую бессмысленную и бесполезную битву, какую можно вообразить, если и жил когда-то, то умер, как полагается, сотни четыре лет назад, люди не вечны, эй, отстань уже от него, не тревожь мертвецов, ты, бедный придурок, вообразивший себя любимцем богов, тайным распорядителем праздника вечной жизни, королем веселого бала сошедших на землю звезд.

По-настоящему плохо, что все это думаю я сам. Действительно сам, без услужливых подсказок небытия. И спорить мне, стало быть, не с кем. Да и сил затевать новый спор уже нет.

Но я все равно встаю на дыбы. И говорю так твердо, что слова, сорвавшись с соленых от солнца губ, падают на черепицу с грохотом, как железные гайки; одна надежда, что жильцы верхнего этажа сейчас на работе и не станут лезть проверять, что творится у них на крыше.

Я говорю:

— Мы все равно есть.

Говорю и, конечно, не верю. Кому, скажите на милость, верить? Вот этому дураку, который даже с ума не может сойти тихо, запершись дома, как все приличные люди, никого не беспокоя навязчивым бредом, а полез ради этого выдающегося деяния на чужую крышу в самом центре Старого Города, видимо, в тайной надежде поднять напоследок изрядный переполох.

Я повторяю:

— Мы все равно есть.